

Вячеслав Яковлевич Шишков

Пейпус-Озеро

Глава 1. Свершается реченное

Николай Ребров последний раз оглянулся на Россию. Под ногами и всюду, куда жадно устремлялся его взор, лежали свежие первоноябрьские снега, воздух дышал морозом, но Пейпус-озеро еще не застыло, спокойные воды его были задумчиво-суровы, и седой туман разметал свои гривы над поверхностью. А там, на горизонте, легкой просинью едва намечались родные далекие леса.

Николай Ребров едва передохнул, остановившееся его сердце ударило с новой силой, он крикнул:

— Иду, Карп Иваныч! Сейчас... — и побежал к скрипевшему большому возу, на колеса которого наматывался липкий снег.

* * *

У заставы пришлось беженцам провести трое суток в холоде, в снегу. Эстонскими властями разоружалась Северо-Западная армия генерала Юденича: отбиралось и переписывалось оружие,

проверялись списки, выдавались наряды: кому куда. Безостановочно двигались обозы, уныло шагали солдаты в одиночку и кучками — остатки белых на-голову разбитых полчищ. Вся эта жестокая затея, стоившая России стольких жертв, продолжалась около трех месяцев, и новая европейская амуниция белых войск еще не успела истрепаться о красные штыки. Зато лица солдат унылы и потрепаны, в глазах усталость, озлобленность, головы опущены, и мало веселых слов. Так с поджатым хвостом возвращается в свою будку побитый пес. Среди свежей амуниции то здесь, то там култыхает серая рвань: это забеглые, покинувшие свою родину, красноармейцы. Надрывно скрипят по снегу немазаные колеса таратаек, истощенные быстрым отступлением обезноженные лошади тяжело поводят ребристыми боками, мобилизованные псковские мужики угрюмо шагают возле своих кляч и с ненавистью поглядывают на скачущих верхами офицеров.

— Вот и Эстония, — сказал Николай Ребров.

— Да, — безразлично ответил с возу Карп Иваныч, богатый торгаш-крестьянин из-под Белых-Струг. Он очень толст и неуклюж, рыжие усы вниз, бритое лицо заросло щетиной. Семь больших возов, запряженных собственными лошадьми, везут его добро. Он на последнем. А на первом возу — сельский батюшка, отец Илья с

перепуганным сухощеким личиком. Он согнулся, засунул руки в рукава и дремлет под гул унылый речи, под скрип возов.

— Рарарара..... Футь!

— Не отставай, Мишка, не отставай!

— Я не отставаю... А где тятя-то?

— Фють! Но, шолудивая!

Старый сосновый лес. Сквозь шапки хвой голубеет небо. Был ликующий зимний день, но многотысячная бегущая толпа, вся, как в ночи, в проклятиях и вздохах, и поток солнечных лучей не мог пробить гущу унылых дум. По обе стороны лесной дороги шагали с узлами, с торбами согбенные люди. Мелькали красные, белые, черные платки на головах женщин и подростков. Мычали коровы, блеяли овцы, где-то протестуяще визжала свинья.

— Нно! Чего поперек дороги-то остановился? Эй, ты!

— Двинь его кнутом!

— Тпру! Сворачивай, дьявол!

— Ксы! Дунька, гони, гони корову-то в лесок!.. Чего ты, кобыла, чешешься!

На пути эстонский хутор. Возле белого чистого домика стоит семья эстонцев. «Сам» в белой рубаше и ватной жилетке. Бритое лицо его зло, серые узкие глаза сверкают. Он кричит что-то поэстонски на разрозненно шагающих солдат и,

выхватив трубку, бросает с презрением:

— Ага, белы черть!.. наших баронов защищать пришли? Куррат!

— Мороз померзнуть надо их, — подхватывает другой эстонец. — Нейд тарвис... Яра хавитада. — Он не торопясь подходит тропинкой к своему соседу, злорадно хохочет, подмигивая на солдат: — Повоевал, ладно, чорт, куррат... Тяйконг... А жрать в Эстис пришел...

— Эй руска! Ваши газеты печатались — Троцкий у вас в плену. А ну, покажи, где Троцкий?.. Ха-ха-ха-ха...

— Они Питер взяли!.. Вот наши бароны подмогу им дадут, на Москву полезут.

Обезоруженные солдаты отвертываются, глядят в сторону, вздыхают, пробуют громко между собою говорить. Вот один надрывно крикнул:

— Молчи, чухонская рожа! И так тошнехонько.

Солнце склонилось за лес. Стало темнеть.

Беглая, неприкаянная Русь огромным ужом утомленно вползла в Эстонию.

* * *

В густом лесу, вблизи дороги глазасто горят сотни костров. Людской поток завяз в глубокой тьме и остановился. На много верст сплошной

цыганский табор.

Карп Иваныч деловито готовит снедь.

— Помогай, чего ж ты, Сережка, развалился, как дома на диване, — говорит он своему сыну, румяному юноше с задумчивыми глазами. — Сергей, слышишь?

— Сейчас. — Сергей нехотя встает с раскинутой у костра, на снегу шубы и сонно смотрит на отца.

— Бери ведро. Намни снегу поплотней, чай кипятить из снегу станем. У них, у дьяволов, и воды-то не выпросишь. Подошел к колодцу — гонят. Тьфу!.. Давай, говорят, две марки. Да не успел еще я, дьяволы, марок-то ваших наменять, чтоб вам сдохнуть... Тьфу!.. И лошадей-то снегом кормить придется замест воды...

— Да, да, — сказал сухощекий, с рыжей бородкой хохолком отец Илья и кивнул в сторону пошагавшего с ведром Сергея — Трудно сынку вашему будет: в холе рос.

— Матка избаловала его. Известно дуры бабы. Он, бывало, из дому не выйдет, чтоб губы не намазать фиксауаром, да брови не подвести. Франт. А дела боится, как огня. Белоручка. Несмотря, что в деревне рос.

— Трудно, трудно будет, — вздохнул батюшка. — А нет ли у вас лишней сковородочки? Яишенку с хлебцем хочу изобрести.

Где-то раздался выстрел. У соседнего костра неуклюжая женская фигура, замотанная шалью, доила корову. Это Надежда Осиповна Проскурякова, бывшая помещица, старуха. У нее молодой, кровь с молоком, муж, бывший крестьянский парень. Он сильной рукой держит корову за веревочный ошейник и насвистывает веселую.

— Митя! Прошу тебя... Ой, держи!.. Она опять меня боднет...

— Держу, держу... Доите вашу корову с наслаждением...

Голова старухи трясется, и молоко циркует аппетитно в деревянный жбан. Встревоженный вырос у костра Николай Ребров.

— Карп Иваныч! Как же быть?.. — проговорил он подавленно. — Озноб, голова болит у меня... Просился к эстонцам. В двух мызах был, не пускают. В баню просился ночевать — гонят. Даже один выстрелил, в воздух, правда... Слыхали?

— Эх, плохо, Коля, — сказал Карп Иваныч, — ложись у костра. Ужо я сена подброшу. Эх, парень! И одежишка-то у тебя один грех... Сергей, Сережка! — закричал он в тьму. — Скоро?!

— Вы, что же, гимназист? — спросил священник, и, кокнув об сковородку яйцо, пустил его в шипящее масло.

— Реалист. Только что окончил...

— А папашенька ваш чьи же, какой, то-есть, профессии?

— Железнодорожник.

— Та-ак-с. А что же вас заставило бежать одних? — священник кокнул четвертое яйцо и потыкал ножиком яичницу.

Во тьме, на дороге непрерывный гам, крик, тяжелый грохот.

— Эй! Тут какая часть?

— Никакая. Тут вольные.

— Не видали ль полковника Заречного?

— Артилерия, что ли? Езжайте дальше. Они в фольварк ушли.

— Тпру! Стой, сто-о-ой!!.

Грохот смолк. К костру подбежали два солдата.

— Братцы! Дайте-ка перекусить. Не жрамши.

— Артиллеристы? — спросил отец Илья.

— Восьмая батарея. Не знай куда сдавать.

Никаких порядков не разберешь. Все начальство разбежалось. Сена нету... Лошади падают... Чухны ничего не дают. — Измученные солдаты жадно чавкали поданные Карпом Иванычем ломти хлеба.

— Никак вы из духовенных? — обратился бородатый солдат к батюшке?

— Есть грех... Священнослужитель из с. Антропова.

— Вот дьяволы какие, эти самые

краснозадые, — злобно проговорил второй солдат. — Даже духовенные от них должны бежать.

— Им, анафемам, только в руки попадись... С живых шкуру спустят, — сказал Карп Иваныч, хлебая щи.

— Ну, да и мы тоже ихнего брата, — сказал бородатый, вздохнув. — Много их на деревьях качается... Папаша дозволю щец хлебнуть. Пятые сутки горяченького не видал... Ах, сволочи, как они нам нашпарили.

— Увы, — воскликнул батюшка. — Даже неисповедимо все вышло... Почитай в Питере вы были, на Невском.

— Да и были бы... Измена вышла. Англия, вишь ты, задом завертела, подмоги не дала. Надо бы ей с флотом быть, тогда наш левый фланг не обошли бы. Эстонцы тоже помощи не оказали. Ну, и господа офицеры наши вроде как свирепствовали с мужиком. Мужик, знамо, этого не любит... Вот и...

— Да, да, — вздохнул батюшка. — Свершается реченное... Брат брата бьет... Натя, христоролюбивые воины, картошечки вам... А в Питере мы будем скоро... Вера горами движет... Факт!

Из тьмы резко и пронзительно:

— Васильев! Васильев!.. Самохва-алов!! Айда скорей! Господин поручик прибыли...

— А кляп с ним, с порутчиком-то, — сказал бородач и, перебрасывая с ладони на ладонь горячую картошку, закричал: — Сей минут! Идем!!

* * *

Сыпал мелкий снег. Вершины сосен сонно брюзжали под легким ветром. У потухавших костров стихли звуки и движенья.

Ночь. Николай Ребров спит, свернувшись на сене, у костра. Сон его прерывист, сбивчив. «Встань, иди... А то умрешь...» — «Сейчас», — говорит он и быстро вскакивает. Глаза его мутные, ничего не понимающие. Но вот мысль и решимость озаряет их. Он тоскливо и медлительно оглядывается кругом, как бы прощаясь с теми, с кем коротал далекий путь. Оглобли тесного табора приподняты. Лошади понуро опустили головы, дремлют. Карп Иваныч храпит под двумя шубами в обнимку с сыном. Его лицо пышет теплом: снег тает и бежит ручейками в открытый рот. На возу чернеет скорченная фигура священника. Помещица спит возле коровы. Ее муж подбрасывает в костер топливо и насвистывает веселую. Где-то тонко и лениво тявкает собачонка.

Николай Ребров перекрестился и, пошатываясь, зашагал к дороге. Тьма становилась зыбкой, расплывчатой. Вверху, упав на снеговые

тучи, дрожал рассвет. Николай Ребров двигался по дороге, как лунатик, безжизненно и слепо. Брошенные возы, таратайки, походные кухни казались ему то ползущими копнами сена, то невиданными чудовищами. Вот слон больно ударил его бивнем в лоб. Юноша отпрянул, открыл глаза: приподнятая, вставшая на пути оглобля.

«Спеши... А то умрешь»... Кто-то захохотал среди шагающих рядом с ним сосен, и близко взлаяла собачка. «Спеши, спеши, спеши», твердило сердце, но голову обносил угар, и нельзя понять, туда ли он идет. Ученическая шинелишка растегнута, картуз с медным значком напоздаст на глаза, сзади треплется холщевый мешок с вещами, давит плечи, и юноше кажется, что в мешке ненужный груз: песок и камни. Он хочет его сбросить, он уже занес руку, но мешок вдруг стал легким, и ноги зашагали уверенней.

— Куда землячок?

Он оглянулся. Чуть позади его шагает, тяжело припадая на ноги, ободранный парень.

— А ты куда?

— Прямо. Я из Красной армии удрал. — Красноармеец легонько снял с Николая Реброва торбу и перекинул через свое плечо: — Видать, устал землячок. Ничо... Я подсоблю...

— Захворал я, — сказал юноша. — В тепло хочется, в хату. Верстах в двадцати отсюда

поместье Мусиной-Пушкиной... Там, говорят, пункт. Медицинская помощь.

— Лазарет, что ли? Я тоже чуть жив... Ноги поморозил... Как поем, так сблюю. Да и жрать-то нечего... Ослаб...

— Скоро утро, — вяло и задумчиво сказал Николай Ребров. Во рту сухо, в виски стучало долотом, каждый шаг болезненно отзывался во всем теле. — Я больше не могу, — сказал он. — Вот костер горит. Пойду, попрошусь, прилягу...

— Жаль, землячок... А то пойдём... Вместях-то веселей быдто... Я поплетусь, а то ноженьки зайдутся, беда. Вишь, обутки-то какие... На торбу-то... Прощай... А ты откуда?

— Из Луги.

— А я Скопской... Прощай, товарищ... — И вдогонку крикнул, как заплакал: — Мать у меня померла в деревне!.. С голодухи, знать. Земляк сказывал, билизованный... Хрестьянин... Померла, брат, померла. — Красноармеец громко сморкнулся и покултыхал вперед.

Глава 2. Золотое и красное. Бездонный колодец. Мария

Какое-то все золотое и красное. Поют птицы, перекликаются ангельские голоса. И не хочется уходить, отрываться от этих грез. А надо.

— Спит еще, — сказал ангел.

— Пусть спит... Он кажется очень нездоров, — сказал другой ангел.

— Какой он хорошенький.

— Я бы его поцеловала. Очень красивые брови... И все.

— А глаза голубые.

— Откуда знаешь?.. Он защурившись. Спит.

— Мне думается, голубые... При светлых волосах это всегда. Кажется чайник ушел. Где чай?

— Давай лучше заварим кофе. А почему ж у него брови черные? Значит, глаза карие... Достань-ка масла.

— А где оно?..

Ангелы говорили очень тихо. Но где-то вблизи загромычала русская матерная брань, рай провалился вдруг, и юноша поднял каменные веки. Два ангела в синих, отороченных серой мерлушкой, шубках улыбочиво глядели на него.

— Здравствуйте, с добрым утром! — приветливо воскликнули они. — Хорошо ли спали? Бедный, вы больны?

— Я — Варя, — подошла черненькая, с маленькими алыми губами. — Позвольте познакомиться.

— Мы помещики из Гдовского уезда, — сказала белокурая — Кукушкины. А папа ушел проверять скот.

— Мы же со всем имуществом... Ах, какой ужас эта революция!

Ругань на дороге становилась ядреней и жарче. Поднимали кувырнувшийся в канаву воз. — Эй, кобылка!.. так-так-так-так... Иди, пособилай!.. так-так... — Становь дугу! А на дугу вагу... Неужели не смыслишь, так-так-так. — Ага! Пошла-пошла-пошла!.. Понукай хорошень кнутом!.. Ну, сек вашу век!.. Ну!!

Юноше хотелось провалиться.

— Благодарю вас за приют!.. — крикнул он. — Мне очень стыдно... Я ночью так ослаб... Извините...

— Ах, что вы! Пожалуйста... А мы пробираемся на Юрьев. Там папочка ликвидирует скот, и мы чем-нибудь займемся, — лепетала черненькая Варя, помешивая закипающее в котелке молоко. — Это в том случае, конечно, если генерал Юденич не очистит Россию от красных банд.

— Ах, пожалуйста! — воскликнула белокурая Нина, и ее строгие брови сдвинулись к переносице. — Какую с папочкой вы городите чушь... Извини меня...

— Брось, сестра, никогда мы с тобой не сойдемся. Там бы и оставалась со своими красными. А вот и папочка...

К костру подошел с быстрыми черными глазами чернобородый человек.

— Ага! Вы уже проснулись? А ведь только еще 10 часов, — заговорил он сиплым простуженным голосом. — Ну, батенька, и хороши вы были вчера. Эх, жалко термометр далеко. Дайте-ка голову... Ого! Жарок изрядный.

На большом ковре пили кофе и горячее молоко. Лопнул стакан. Кукушкин злобно бросил его в снег. Парень-работник в рваном овчинном пиджаке возился у костра: переставлял рогульки с повешенными на них котелками, рубил баранью ногу, подбрасывал дрова. Белый понтер, Цейлон, спал у самого костра на сене и дрожал. Помещик ел быстро, обжигался, много говорил, но юношу мучила болезнь, и мысль определенно и настойчиво влекла его на отдых. Сестры шептались:

— Я говорила — голубые...

— Ничего подобного — серые.

Небо было чистое, с легким морозом. Ожившая дорога двигалась сквозь сосны — телеги, овцы, таратайки, коровы, всадники, солдаты, мужики — дорога взмыкивала, скрипела, скорготала, гайкала и, дуга в дугу, как хребет допотопного дракона, с присвистом и гиком, шершаво змеясь уползала вглубь.

— Я должен итти, — сказал юноша, — вы не знаете, сколько верст до Мусиной-Пушкиной?

— Ах, пожалуйста, мы вас не пустим! — вскричали сестры ангельскими голосами.

И вновь, на короткое мгновенье, покраснело, зазолотилось все.

— Я болен... Мне надо доктора... Там есть.

— Тогда вот что, — проговорил отец и поднялся. — Иван! заседлай двух лошадей... Понял?

— Трех, трех! — вскричала Варя.

* * *

Николай Ребров в ватной старенькой венгерке, подаренной ему помещиком, куда-то плывет в солнечном пространстве.

— Вы мне обязательно должны писать... Прямо: Юрьев, до востребования, Варваре Михайловне Кукушкиной. Ах, милый Коля! Как жаль, что вы больны... Держитесь крепче!

Варя плывет рядом с ним, плывет и говорит, и еще плывет Иван, плывет дорога, люди, лошади, коровы, лес, плывет и фыркает Цейлон.

— У меня двоюродный брат. Я его должен разыскать. Он военный чиновник. При полевом казначействе.

— А вы любите приключения? Я люблю. А то жизнь такая серая, скучная... Особенно в деревне... Мамы у нас нет. Я всегда мечтала: встречу его, встречу, встречу!..

— Кого?

— Вас! Ха-ха-ха! Вам смешно? Милый, милый Коля. И как быстро в несчастья сходятся люди. Вы мне сразу стали каким-то родным, близким. Мне ужасно хочется ухаживать за вами, быть сестрой милосердия. Но папочка у нас очень строгий... А мама умерла.

Иван плывет, ударяет по воде веслами, лошадь мотает головой, весла говорят:

— Вам, барышня, пора обратно.

— Ничего подобного. Цейлон, Цейлон, иси!

— Барин ругаться будут.

— Не твое дело. Отстань!

Ах, к чему эти споры, когда все плывет, когда голова валится на грудь и хочется тишины и одиночества.

— Цейлон!!

Красный лес гуще, гуще. Лес преградил дорогу.

— Тпррру!!

Туман и тишина.

* * *

Николай Ребров застонал. Зачем? Просто так, взял и застонал. Бездонный колодец. Мерцают огоньки. Под ним — солома и что-то твердое. Он полого скользит на дно, медленно, но верно. И все стонут, справа, слева, впереди, стонут, охают,

бормочут и все, вместе с ним, скользят на дно. Там мрак и холод.

Идет вся в белом, белая женщина идет, идет со дна, из холода и тьмы, но в глазах ее огонь и ласка. Не даром к ней тянутся с низу жадные, трепещущие, скорченные руки, приподнимаются от грязной соломы взлохмаченные головы:

— Сестрица... Родненькая.

— Где я? — спросил сам себя Николай Ребров.

Длинный низкий коридор, солома, стоны, кучи тел, электрические лампочки над головой, сестра. И в случайной волне воспоминаний вяло проплывают разрозненные клочья картин и звуков: костры, как кони, и гривастые кони, как костры, снег, выстрел, зеленая зыбь Пейпус-озера и — «милый, милый Коля»... Чей это голос, чьи глаза? Сон или явь все это? Женщина, как хмельной туман, как черемуха в цвету, склонилась над ним, и белая рука коснулась его головы.

— Вы очень хвораете. Можете подниматься? Можете вставать? Идите за мной!

Сон продолжался, белый туман влек его вперед, шуршала солома под ногами, шуршал и рвался недовольный ропот многих голосов:

— А-а, ишь ты... а-а-а... Нас бросила-а-а...

— Скажите, где я?.. Куда меня ведете?.. Почему они...

— Идите за мной... Дайте — помогу вам.
Руку, руку!

Щурил глаза. И какой-то синий свет лил сверху, волнами ходил свежий воздух. Дорога, сосны, снег, стена, ступени вверх, вдруг — тепло, запахло хлебом, белая постель и милые, милые, чьи-то бесконечно добрые глаза. Николай Ребров поймал белую руку и поцеловал. Кто-то ударил медной ложкой в медный таз: бам! И этот звук, как кусок меди, как раскаленная большая пчела вьется возле юноши, жужжит, врывается в ухо, вылетает, звенит — стрекочет пред самыми его глазами. Хочется прогнать, уничтожить или самому умереть. Он взглядывает на таз: таз на месте, а звуки ходят-ходят. Кто смеет будить его? Кто хочет прервать его светлый сон?

— Уйдите, не трогайте... Ма-а-ма!! — прокричали в пустоту чужие его уста, но меч опустился, сон и явь отлетели прочь.

* * *

Полдень, солнечные квадраты окон опрокинулись на крашенный чистый пол, тени от легких занавесок, фикусов и цветущих фуксий легли нежным узором. Белые стены небольшой комнаты, изразцовая, шведская печь, крепкая простая мебель, темное распятие в углу на полке. За

огромным столом бритый длинноволосый старик в коротких синих панталонах, шерстяных чулках и грубых башмаках. Он пьет кофе. От белой очищенной картошки — пар. На тарелке гора сливочного масла.

К Николаю Реброву подходит с кофе сестра Мария, дочь старика.

— Подкрепляйте себя, — говорит она ласково. На ее косынке маленький красный крест.

— Я не знаю, как благодарить вас, сестра, — вы приютили меня в своем доме. А там, в коридоре, я, наверно, подох бы на соломе, как пес. Благодарю вас, сестра Мария! Ведь я провалялся здесь, сколько? Десять дней? И вас благодарю очень, Ян. Пожалуй к вечеру мне можно двинуться дальше.

— Нет, — сказала сестра Мария и приветливое лицо ее стало озабоченным. — Зачем торопить? Три дня должны отдыхать. А лучше — неделя. Куда спешить? Пейте кофе, сливок, сливок больше... Кушайте масло. Сейчас суп подаваль...

— Я не знал, что на чужой стороне встречу таких добрых людей.

— Если плохо будет житье, приходи опять, — заговорил старик тонким голосом. — Работник будешь, моонамис... Лес поедем, дроф делать... как это... — Сестра Мария грустно смотрела юноше в лицо, о чем-то думала. — Она у меня... как это... святая, — сказал старик, — кахетсеб... всех жалеет.

А нас ни один собак не жалеет. Сына терял, в красных был, под пулю попадался, белые вешали на сук. Сын мой. А ей брат... Густав... Один только и был у нас, как солнце. Вот нету больше.

Юноша заметил: старик сбросил пальцем с глаз слезу. Сестра Мария часто замигала.

— Он был очень похож на вас... Очень, — сказала она тихо, — оставайтесь с нами... Время самое несчастное... Зачем уходить? Куда? — и ее рука коснулась задрожавшей руки юноши.

— Нет, не могу, — и Николай Ребров вздохнул. — Буду искать брата... Что скажет брат?

У сестры Марии округлились и сузились глаза, она быстро отдернула руку, встала, вышла вон. Юноша удивленно посмотрел ей вслед.

— Как узнали про сына? — спросил он, помедлив.

— Толковал наш, эст. Был... как это... контуженый вместе с мой Густав. Бежал. С белыми пробрался сюда. Он энамланэ... ну, это... большевик. Зачем, спрашиваю, пришел? Он отвечает: мой святой долг раз'яснить солдатам... как это... наш... наш программ. Он сказал: нас, большевиков, много пришло с белыми.

* * *

Вскоре — день был воскресный — собрался

народ. Чинно уселись вдоль стен и посредине. Женщины в белейших платках. Ян поставил на стол маленький, накрытый вязаной салфеткой аналой, положил на него священную книгу и, надев большие круглые очки, стал читать на непонятном языке. Он читал не торопясь, выразительно. Останавливался, чтоб высморкаться, чтоб утереть платком глаза. С зажженных восковых свечей капал воск, и капали слезы старика на книгу. Молящиеся вздыхали, охали, стонали, выражение лиц их постепенно уходило от тела в дух. Старик прервал чтение и начал говорить от себя, страстно и порывисто, он всплескивал руками, сокрушенно тряс головой, кивая на распятие. Голос его сдавал, плескался, тонул в слезах. — О, боже, боже, помоги нам, погибаем! — Среди молящихся слышались всхлипыванья, сначала сдержанно, скрытно, потом громче, громче. И вот заголосил, навзрыд, заплакал весь народ и шумно опустился на колени. Старик же поднялся во весь рост, он тоже рыдал и восклицал, как одержимый, бия кулаками в грудь. Сестра Мария, стоя на коленях, стиснула ладонями голову, иступленно кричала: «Пюха нейтси Мария! Езус Христус! спаси его, спаси его! Удержи его здесь!».

Николай Ребров созерцал все это вначале с равнодушным любопытством, но вот волнами закачалась под ним кровать, рыдания молящихся

подхватили его душу, и все осталось позади; он на коленях среди простертых на полу людей, и нет ничего, кроме рыданий, кроме возгласов, теперь понятных для него и ясных. И он уже не он, он во всех и все в нем, и это чувство единения, этот порыв духа вглубь и ввысь, вмиг до краев пресытил все существо его неиз'яснимой радостью, и стало больно, и стало тяжело, жутко.

— Аамен, — торжественно произнес старик. Все смолкло.

Николай Ребров вздрогнул, очнулся. Лицо его мокро от слез, губы дрожали. Не покидая кровати и не двигаясь, он лежал на спине, очарование сползало с него, как сладостный угар: все спайки с людьми мгновенно рушились. Он опять один среди чужих, и видел десятки устремленных на себя враждебных глаз. Психоз прошел. Он — вновь человек, лежащий на кровати.

— Аамен, — еще раз сказал старик.

Глава 3. Английский сапог и русская портянка

Спустя трое суток Николай Ребров ушел. Был ядреный солнечный день, поля и перелески отливали свежими красками, воздух звенел морозной белизной, и настроение юноши сразу стало бодрым. После тяжелой болезни свежий

воздух пьянил его, как хорошее вино. Людская волна на шоссе скатилась, лишь кой-где попадались отставшие от армии солдаты, бесколесая повозка, труп лошади в канаве, как в могиле, потерявший силы пешеход.

Шоссе подвело юношу к фольварку остзейского барона. Белый дом обнесен невысокой кирпичной оградой. У открытых ворот часовой в небрежной позе. Он грызет семячки, щека его подвязана грязнейшей тряпкой и кой-как, впритык к стене — винтовка со штыком. — Эй, ты! Куда? — Но Николай Ребров, не останавливаясь, вошел внутрь двора. Справа, у кухни, солдат в рубахе и окровавленном фартуке обдирал баранью тушу. Рыжая собака, нетерпеливо повизгивая, переступала с ноги на ногу и пускала слюни. Из раскрытого низенького окна кухни валил хлебный пар, и в пару, как в облаках, торчала рыжекудрая, краснощекая голова херувима. Херувим курил трубку и смачно сплевывал через окно на снег. Пересекая двор, быстро шли с корзинками две молодые толстозадые эстонки. Изо всех щелей, как к зайчихам зайцы, молодцевато перепрыгивая чрез кучи снега, скакала к ним неунывающая солдатня.

— А дозвольте, дамочки, узнать, какие у вас супризы продаются?

— Ах, какой сдобный дамский товарец здесь: все двадцать четыре удовольствия!

Но поднявшаяся было любовная потеха с кокетливым женским визгом и увертками враз оборвалась:

— Вестовой! Где вестовой?!

— Есть! В момент, ваше благородие... — и запыхавшийся безусый солдат, быстро оправив вылезшую из брюк в возне рубаху, подбежал к крыльцу и стал во фронт.

— Немедленно заседлать коня. Понял? И карьером в штаб тыловой части... Вот этот пакет... — сухощавый лысый офицер обернулся и крикнул в дверь: — Сергей Николаевич, скоро?!

— Готово, вот! — и выбежавший на крыльцо молодой человек с белокурой бородкой подал офицеру запечатанный сюргучными печатями большой пакет.

— На! — сказал офицер подскочившему солдату. — В собственные руки генерала Верховского. Обратную расписку мне. Понял? Повтори...

Стоявший посреди двора Николай Ребров вдруг заулыбался и, сорвав с головы картуз, радостно замахал им в воздухе. Сергей Николаевич быстро сбежал с крыльца и бросился юноше на шею:

— Колька, брат! Какими судьбами?!. Вот встреча...

Николай Ребров никогда не пил такого вкусного чаю с ромом, как в этот вечер у своего двоюродного брата. Маленькая комнатка в антресолях барского богатого дома была занята двумя военными чиновниками: Сергеем Николаевичем и Павлом Федосеичем, человеком пьющим, неряшливым, с толстым животом и бабьим крикливым голосом. В комнатке жарко. Денщик открыл бутылку эстонского картофельного спирта. Сергей Николаевич снял щегольской английский френч.

— Ничего, Колька! Молодец, что удрал, — говорил он приподнято и дымил отвратительной капустной сигареткой. — По крайней мере, свет поглядишь.

— Пей, вьюнош! — беспечно прокричал Павел Федосеич и налил разбавленного спирту. — Мы, брат, пьем не то, что у вас в Совдепии. Мы, пока что, богаты. Эй, Сидоров! Что ж ты, чорт, с селедкой-то корячишься?!

— Сей минут, ваше благородие.

— Не унывай, Колька, — говорил брат. — Есть положительные данные, что наша армия вновь будет формироваться. Возможно, что в Париже. Слышал? И мы туда. Потом перебросимся на Дальний Восток и уж грянем по-настоящему.

— Неужели в Париж, Сережа?! — глаза юноши засверкали огнем от вдруг охватившей его мечты и спирта.

— В Париж, брат, в Париж! В вечный город. Во второй Рим, к галлам, к очагу великой бессмертной культуры и цивилизации. Ну, Колька, пей! Павлуша, за процветание прекрасной Франции!

— Чорта с два, — протянул Павел Федосеич. Его рыжие пушистые усы и толстые обрюзгшие щеки затряслись от язвительного смеха. — Фигу увидим, а не Париж. Нет, дудки! Крышечка нашей северо-западной армии, со святыми упокой. Эх! — он горестно вздохнул, выплеснул из стакана чай и выпил спирту. Выпуклые его глаза были тревожны и озлобленны.

— Значит, у тебя нет веры, нет?

— Во что? — спросил толстяк.

— В мощь нашего истинно-народного духа? В силу русских штыков, русского офицерства?

— Увы, увy, увy и еще раз увy...

— На кой же чорт ты лез сюда?

— Дурак был. Сукин сын был. Сидеть бы мне, толстобрюхому болвану в своем Пскове, голодать бы, как и все голодают... По крайней мере, брюхо бы убавилось и одышка прошла. А офицерье наше наполовину сволочь, помещичьи сынки...

— Тсс... Павлуша, не визжи... Неловко...

— А-а-а... Ушей боишься? А я вот не боюсь. Эй, Сидоров!. А хочешь ли ты знать правду?

— Сидоров! — сверкнув на товарища глазами, сказал Сергей Николаевич. — Вот что, Сидоров, иди в кухню и принеси ты нам баранинки с картошечкой. — И когда денщик ушел, он в раздражении заговорил: — Слушай, Павел... Я тебя прошу вести себя прилично. Нельзя же деморализовать людей.

Павел Федосеич выслушал замечание с фальшивым подобострастием, но вдруг весь взорвался визгливым смехом:

— Деморализация? Ха-ха-ха... Мораль? А где у нас-то с тобой мораль, да у всей нашей разбитой армии-то с Юденичем вместе?! Чьи мы френчи, да сапоги носим? Английские. Чье жрем-пьем? Английское да французское. Чье вооружение у нас? Тоже иностранцев.

— Постой, погоди, Павлуша...

— Нечего мне стоять... Я и сидя... Эх, Сережа, Сережа... Ведь ты пойми... Нет, ты пойми своим высоким умом. На подачке мы все, на чужеземной подачке. Бросили нам вкусный кусок: на, жри, чавкай! Но ведь даром никто не даст, Сережа... И вот нам, русским, приказ: бей русских!..

— Но позволь, позволь...

— Так-так-так... Я знаю, что ты хочешь

возражать: святая идея. Ха-ха-ха... Врет твой ум!.. Ты сердце свое спроси, ежели оно у тебя есть, — захлюпал, засвистал больным зубом толстяк и схватился за щеку. — Ага! Зачем им нужно? Антанте-то? Эх, ты, теленок... со своей умной головой... А вот зачем. Им необходимо нашу Русь ослабить. Уж если землетрясение, так толчок за толчком, без передыху, чтоб доконать, чтоб пух из России полетел. Значит, ты этого желаешь? Да? Этого?

— Нет. Но дело в том, что...

— Врешь! Ей богу врешь. Сразу вижу, что будешь от башки пороть. Тьфу!..

Сергей Николаевич шагал в одной рубаше из угла в угол, нервно пощипывая свою белокурую бородку. Щеки его горели. Он с опаской поглядывал на дверь, откуда должен появиться Сидоров, и на своего брата, растерянно хлопавшего глазами. Павел Федосеич, выкатив живот и запрокинув голову на спинку кресла, сипло с присвистом дышал.

— И ты, зеленый вьюнош, Володя... как тебя... Петя что ли...

— Я — Николай Ребров...

— Наплевать... Знаю, что Ребров. Ты за братом не ходи... На Парижи плюй, на Дальние Востоки чхай. Свое сердце слушай. Ха, мораль... Обкакались мы с моралью-то с возвышенной...



Легли спать очень поздно. Братья на одной кровати. Электрическая люстра горела под красным колпаком. Теплый спокойный сумрак нагонял на юношу неотвязную дрему. И сквозь дрему, как сквозь вязкую глину, всплывали в уши вихрастые зыбкие слова:

— Я тебе дам письмо... Понял?.. Рекомендацию... Может быть, примут. Даже наверное... А здесь — битком... Ах, ты, мальчонка славный... Опыанел?..

Павел Федосеич долго пыхтел в кресле, разуваясь, с великим кряхтением закорючив ногу, он снял сапог, посмотрел на него:

— Английский... Сволочь, — и швырнул в угол. — А это вот русская... — он понюхал портянку, высморкался в нее и тоже бросил в угол. Потом гнусаво, по-старушичьи затянул:

Ах ты, Русь моя,
Русь державная,
Моя родина
православная.

Потом заплакал, перхая и давясь:

— Бывшая, бывшая родина... Бывшая!.. —

голова его склонилась на грудь, он привалился виском к спинке кресла, разинул беззубый рот и захрапел.

На цыпочках вошел денщик Сидоров. С простодушной улыбкой он посмотрел на спящего Павла Федосеича, бережно разул его вторую ногу и унес сапоги чистить, захватив к себе остаток спирта и закуски.

Глава 4. Старая орфография. Там жизнь, там!

Николай Ребров прожил у двоюродного брата два дня. На третий — в бодром и веселом настроении зашагал дальше, искать свою судьбу. В его кармане лежало рекомендательное письмо брата к поручику Баранову, а в сердце запечатлелись прощальные напутствия Сергея Николаевича и родственные, почти отеческие об'ятия подвыпившего Павла Федосеича. Еще на сердце и в мыслях была крылатая мечта о предстоящей поездке в Париж и путешествии кругом света. Юноша весь погрузился в эту мечту, он так в нее поверил, что ядовитый сарказм Павла Федосеича ничуть не мог его поколебать.

И в мечтах, не замечая пути, он еще засветло пришел в соседний фольварк, где квартировал штаб дивизиона. В канцелярии, опрятной и светлой,

сидели два писаря. Один набивал папиросы, другой шлепал на пакеты печати.

— Тебе кого?

— Поручика Баранова.

— Ад'ютанта? Они у генерала. Сейчас придут.

Зазвякали серебряные шпоры, и через открытую из генеральского кабинета дверь вышел сухой и высокий, подтянутый офицер. Нахмутив брови, он быстро пробежал письмо.

— Ага... От Сергея Николаевича. Но дело в том, что мы штаты сокращаем... А впрочем... Вы хорошо грамотный?... Попробуйте что-нибудь написать...

Николай Ребров красиво, каллиграфически набросал несколько фраз. Раздался звонок генерала.

— Довольно... Прекрасно... Дайте сюда, — сказал ад'ютант и, нежно позвякивая шпорами по бархатной дорожке, скрылся.

Через минуту выплыл в расстегнутом сюртуке тучный генерал. Писаря вскочили и вытянулись. Короткошеяя, круглая, усатая голова генерала, завертелась в жирном подбородке, он потряс бумагой под самым носом юноши и — сиплым басом:

— Это что? Новая орфография? Без еров, без ятей? Здесь, братец, у нас не Совдепия. Не надо, к чорту, — и, раздраженно сопя, ушел обратно.

За ним долговязо ад'ютант. Писаря

хихикнули. Один тихо сказал:

— Пропало твое дело.

— Ни черта, — сказал другой, — он у нас крут, да отходчив...

Вошедший ад'ютант объявил:

— Ты принят... Не взыщи, у нас на «ты»...

Субординация. — И к писарю: — Слушай, как тебя... Масленников, выпиши ему ордер на экипировку. Жить он будет с вами. А ты, Ребров, подай докладную записку о зачислении. Ты, видать, грамотный. Из какого класса? Окончил? Значит почти студент. Отлично. Я генерала переубедил. Старайся быть дисциплинированным. Волосы под гребенку. Орфография — старая. Если произнесешь слово «товарищ» — генерал упечет под суд. Садись, пиши. Сколько тебе лет? Восемнадцать? Можно дать больше.

* * *

Их комната была просторной, светлой, но насквозь прокуренной и пропахшей какой-то редечной солдатской вонью. По стенам висели: в узеньких золоченых рамках старинные батальные гравюры английских мастеров, давно остановившиеся в дубовой оправе часы и, на вбитых гвоздях, амуниция писарей. Грязь, окурки, кучи хлама. В особенности блистал неряшливостью

угол прапорщика Ножова. Сам прапорщик тоже представлял собою фигуру необычайную: черный, длинноволосый, с остренькой бородкой и впалой грудью, он похож на переряженного в военную форму священника. Лицо сухое, с черными, блестящими, как у фанатика, глазами. В боях он командовал отрядом мотоциклистов, но при беспорядочном, похожем на бегство, отступлении, мотоциклетки застряли в проселочной русской грязи и достались красным. Теперь прапорщик Ножов не у дел, наведывается в канцелярию дивизиона и ждет назначения. С писарями — по-товарищески, образ его мыслей круто уклонился влево, но писаря — матерые царисты — оказались плохими ему товарищами и за прапорщиком Ножовым, по приказу свыше, ведется слежка.

Николай Ребров этого не знал и сразу же с прапорщиком Ножовым сошелся. В первое же воскресенье они пошли вдвоем гулять. Был морозный солнечный день. Помещичий, облицованный диким камнем дом стоял в густом парке и походил на средневековый замок.

— Ложно-мавританский стиль, — сказал Ножов. — А вон та крайняя башенка в стиле барокко, выкрутасы какие понаверчены...

— Да, — подтвердил юноша, ничего не понимая.

— Я вам покажу, интересные в этом доме

штучки есть: в нижнем этаже очень большой зал, перекрытый крестовым сводом. Очень смелые линии, прямо красота. И недурна роспись. Подделка под Джотто или Дуччио, довольно безграмотная, впрочем. Под средневековье...

— А вы понимаете в этом толк?

— А как же! — воскликнул Ножов. — Я ж студент института гражданских инженеров и немножко художник. Фу, чорт, как щипнуло за ухо... — он приподнял воротник офицерской английской шинели и стал снегом тереть уши. — Ну, а вы как, товарищ! Вы-то зачем приперлись сюда, в эту погибель, с позволенья сказать? Ведь здесь мертвечина, погост... Трупным телом пахнет.

— А вы? — вопросительно улыбнулся юноша.

— Я? Ну, я... так сказать... Я человек военный... Ну, просто испугался революции... Смалодушничал... А теперь... О-о!.. Теперь я не тот... Во мне, как в железном бруссе, при испытании на разрыв, на скручивание, на сжатие произошла, так сказать, некая деформация частиц. И эти, так сказать, частицы моего «я» толкнули меня влево. — Он шагал, как журавль, клюя носом, теребил черную курчавую бородку и похихикивал. — Я постараюсь себя, так сказать...

— А нас убежало человек двенадцать из училища. Просто так... — прервал его юноша. — Погода хорошая была. Снялись и улетели, как

скворцы. У белых все-таки посытней. Сало было, белый хлеб. И дисциплина замечательная. А потом, они говорили, что большевиков обязательно свергнут, не теперь, так вскорости. Ведь у нас многие убежали. В особенности купцы. Даже архиерей. А семейства свои оставили.

— Какое же у архиерея семейство? Любовница — что ли?

— Что вы, что вы! — сконфузился юноша. — Я про купцов.

Они прошли версты две. Местность открытая, слегка всхолмленная, кой-где чернели рощицы, скрывавшие мызы эстонцев. Свежий снег ослепительно белел под солнцем. Николай Ребров щурился, студент-прапорщик надел круглые синие очки.

— Да, товарищ, — сказал он. — Поистине мы с вами дурака сваляли. Там жизнь, там!

— Где?

— За Пейпус-озером. И только отсюда, с этого кладбища, я по-настоящему, так сказать, вижу Русь и знаю, что она хочет...

— Ничего не хочет, — занозисто проговорил Николай Ребров. — Все хотят, чтобы красные сквозь землю провалились. Аксиома. И как можно скорей.

— Кто все-то?

— Как кто? Все! Спросите крестьян, спросите

горожан...

— Да, да!.. Спросите кулаков, купцов, долгогривых, зажиточных чиновников, у которых свои домишки... Так?

Они вступили в небольшой хвойный перелесок. Налево — просека. Слышался крепкий стук топора. С лаем выскочила черненькая собачонка — хвост калачом.

— Нейва! — крикнул прапорщик Ножов. Собачонка насторожила уши, завиляла хвостом. — Подождите, товарищ. Вот присядьте на пень... Натяните папироску, я сейчас.

Ножов рысью побежал по просеке, собачонка встретила его по-знакомому и оба скрылись в лесу.

Вскоре топор замолк.

Николай Ребров, затягиваясь крепким табаком, старался привести в порядок свой разговор с Ножовым. Почему прапор думает, что только отсюда можно разглядеть, что хочет Русь? И что он в этом деле понимает? Или вот тоже Павел Федосеич... Ведь за дело взялись люди поумнее их: генералы, адмиралы, может быть, из царской фамилии кой-кто, наконец, такие известные головы, как Милюков, Родзянко, Гучков... А у них кто? Там, за Пейпус-озером? Кто они? Даже смешно сравнить.

По просеке, прямо на юношу, мчался заяц, и где-то с визгливым лаем, невидимкой носилась

собачонка. Саженья в трех от замеревшего юноши заяц присел, поднялся на дыбки и стал водить взад-вперед длинными ушами. Николай Ребров гикнул и бросил шапку. Заяц козлом вверх и — как стрела — вдоль опушки леса. За ним собака. Николай тоже побежал следом с диким криком, хохотом и улюлюканьем, но измучился в сугробах и, запыхавшийся, вернулся на шоссе. От просеки, не торопясь, нога за ногу, шел прапорщик и сквозь темные очки читал газету.

— Свеженькая, — сказал он, тряхнув газетой, его сухощекое лицо расплылось в улыбке.

— Откуда? — удивился юноша.

— Из России... Только чур — секрет... Тайна. Поняли? А вот тут еще кой-что... Повкуснее, — и он похлопал себя по оттопырившемуся карману, откуда торчал тугой сверток бумаги. — Эх, денег бы где достать...

— Зачем вам?

— Как зачем? А разве это даром? Думаете, это дешево стоит? Впрочем, у них отлично, так сказать, поставлено.

— Что?

— Фу, недогадливый какой. Да пропаганда! Ведь здесь, если хотите, очень много наших агентов, большевиков. Ну, и...

— Почему — наших? Разве вы большевик?

— А как вы думаете? — Ножов поднял очки и

прищурился на юношу. Потом, спокойно: — Нет, я не большевик... Не пугайтесь. — И... — он погрозил пальцем, — и — молчок. — Последнее слово он произнес тихо, но так внушительно, с такой скрытой угрозой в глазах и жесте, что Николай Ребров весь как-то сжался и растерянно сказал:

— Конечно, конечно... Будьте спокойны, товарищ Ножов. — Ну, а вот объясните мне: почему наша армия потерпела такое фиаско?

— Какая наша армия? — оторвался Ножов от чтения на ходу. — Ах, армия Юденича? Да очень просто. Тут и немецкие интрижки против союзных держав: Германия себе добра желала, Франция с Англией — себе. А об России они не думали. А потом этот самый Бермонд... Слыхали? Который именовал себя князем Аваловым. Слыхали про его поход на Ригу против большевиков? Нет? Когда-нибудь после... Долго рассказывать... Ну, еще что?.. Раздор в командном составе армии, шкурничество, паршиво налаженный транспорт, взорванный возле Ямбурга мост... Словом, одно к одному так оно и шло. А главное — реакционность наших командиров. Как же! Их лозунг «Великая, неделимая». Самостоятельность Эстонии к чорту на рога. После взятия Питера мы мол двинемся на Ревель». Вот Эстония нам и показала фигу... Вы что улыбаетесь?

— Да, думаю, что все это к лучшему, — несмело сказал Ребров.

— Наш разгром-то? Конечно, к лучшему!

Глава 5. Пустота и одиночество. Причина забастовки превосходительной ноги

Время тянулось серое, однообразное. Наступил декабрь. По канцелярии необычайно много дела. Николай Ребров был принят в штат по ходатайству поручика Баранова, он получил нашивку за толковое исполнение бумаг. Писаря злились, за глаза называли его «барчонком» и дулись на начальство, что выделяет своих, белую кость, ученых, а на простых людей им — тьфу.

Масленников, как-то вечером, когда в канцелярии никого не было, встал, одернул рубаху, кашлянул и дрогнувшим голосом сказал ад'ютанту:

— Ваше благородие... А ваш нашивочник-то новый с Ножовым путается. Все вдвоем, да все вдвоем. Куда-то ходят...

Мускулы крепкого лица поручика Баранова нервно передернулись:

— Не твое дело! — крикнул он. — Тебя я спрашивал? Отвечать только на вопросы! Я тебя заставлю дисциплину вспомнить!

Масленников по-идиотски разинул рот и сел.

За последнее время поручик Баранов раздражителен и желчен. Виски его заметно начали сесть, крепкий упрямый подбородок заострился. Из центра, правда, в секретных бумагах, приходили неутешительные вести: северо-западную армию вряд ли будут вновь формировать, и всему личному составу грозит остаться не у дел. Об этом знал и Николай Ребров: кой-какие случайно подхваченные обрывки фраз между генералом и поручиком, кой-какие прошедшие чрез его руки бумаги, лаконичные и мрачные записки от Сергея Николаевича и, главное, широкая осведомленность прапорщика Ножова.

— Ихнее дело, товарищ, швах...

— Чье? — спрашивал Николай.

— Эх, вы, малютка, — чье! Юденича! Его чуть не арестовали.

— Что вы!.. Кто?

— Эстонское правительство, по приказу союзников, наверно. А вот, не угодно ли... Я выудил копию одного документика, чорт возьми... — взлохмаченный Ножов стал выхватывать из карманов, как из книжных шкафов, вороха газет и бумаг. — Вот! — потряс он трепаной тетрадкой. — Послушайте выдержку... Письмо генерала Гофа. Знаете, кто Гоф? Начальник союзных миссий в Финляндии и Прибалтийских